

Л. Н.
АНДРЕЕВ

Избранное



Леонид Николаевич Андреев

В подвале

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=146586

Аннотация

«Он сильно пил, потерял работу и знакомых и поселился в подвале вместе с ворами и проститутками, проживая последние вещи.

У него было больное, бескровное тело, изношенное в работе, изъеденное страданиями и водкой, и смерть уже сторожила его, как хищная серая птица, слепая при солнечном свете и зоркая в черные ночи. Днем она пряталась в темных углах, а ночью бесшумно усаживалась у его изголовья и сидела долго, до самого рассвета, и была спокойна, терпелива и настойчива. Когда при первых проблесках дня он высовывал из-под одеяла бледную голову с глазами травимого зверя, в комнатке было уже пусто, – но он не верил этой обманчивой пустоте, которой верят другие...»

Содержание

I	4
II	12

Леонид Андреев

В подвале

I

Он сильно пил, потерял работу и знакомых и поселился в подвале вместе с ворами и проститутками, проживая последние вещи.

У него было больное, бескровное тело, изношенное в работе, изъеденное страданиями и водкой, и смерть уже сторожила его, как хищная серая птица, слепая при солнечном свете и зоркая в черные ночи. Днем она пряталась в темных углах, а ночью бесшумно усаживалась у его изголовья и сидела долго, до самого рассвета, и была спокойна, терпелива и настойчива. Когда при первых проблесках дня он высовывал из-под одеяла бледную голову с глазами травмированного зверя, в комнатке было уже пусто, – но он не верил этой обманчивой пустоте, которой верят другие. Он подозрительно оглядывал углы, с хитрой внезапностью бросал взгляд за спину и потом, опершись на локти, внимательно и долго смотрел перед собой в тающую тьму уходящей ночи. И тогда он видел то, чего никогда не видят другие: колыхание серого огромно-

го тела, бесформенного и страшного. Оно было прозрачно, охватывало все, и предметы в нем были как за стеклянной стеной. Но теперь он не боялся его, и, оставляя холодный след, оно уходило – до следующей ночи.

На короткое время он забывался, и сны приходили к нему страшные и необыкновенные. Он видел белую комнату, с белым полом и стенами, освещенную белым ярким светом, и черную змею, которая выползала из-под двери с легким шуршанием, похожим на смех. Прижав к полу острую, плоскую голову и извиваясь, она быстро выскользнула, куда-то пропала, и опять в отверстии под дверью показывался ее приплюснутый черный нос, и черной лентой вытягивалось тело, – и опять и опять. Раз он увидел во сне что-то веселое и засмеялся, но звук получился странный, похожий на подавленное рыдание, и было страшно его слушать: где-то в неизвестной глубине смеется, не то плачет душа, в то время когда тело неподвижно, как у мертвого.

Постепенно в его сознание начинали входить звуки рождающегося дня: глухой говор прохожих, отдаленный скрип двери, громыхание дворницкой метлы, сметающей снег с подоконника, – весь неопределенный гул просыпающегося большого города. И тогда наступало для него самое ужасное: беспощадно свет-

лое сознание, что пришел новый день и скоро ему нужно вставать, чтобы бороться за жизнь без надежды на победу.

Нужно жить.

Он поворачивался спиной к свету, набрасывал на голову одеяло, чтобы ни малейший луч не мог проникнуть в его глаза, сжимался в маленький комочек, подтягивая ноги к самому подбородку, и так лежал неподвижно, боясь пошевелиться и протянуть ноги. Целой горой лежала на нем одежда, которою он укрывался от подвальной стужи, но он не чувствовал ее тяжести, и тело его было холодно. И при каждом звуке, говорившем о жизни, он казался себе огромным и открытым, сжимался еще больше и беззвучно стонал – не голосом и не мыслью, так как теперь он боялся собственного голоса и собственных мыслей. Он молился кому-то, чтобы день не приходил и ему всегда можно было лежать под грудой тряпья, не шевелясь и не мысля, и напрягал всю волю, чтобы удержать идущий день и уверить себя, что ночь еще продолжается, И больше всего в мире ему хотелось, чтобы кто-нибудь сзади приложил револьвер к затылку, к тому месту, где чувствуется углубление, и выстрелил.

А день разворачивался – широкий, неудержимый, властно зовущий к жизни, и весь мир начинал двигаться, говорить, работать и думать. В подвале пер-

вой просыпалась хозяйка, старуха Матрена, имевшая двадцатипятилетнего любовника, и начинала топтать по кухне, стучать ведрами и возиться над чем-то у самых дверей Хижнякова. Он чувствовал ее приближение и замирал, решаясь не отзывать, если она его позовет. Но она молчала и куда-то уходила, а потом часа через два просыпались двое других жильцов: гуляющая девушка Дуняша и любовник старухи, Абрам Петрович. Так почтительно, несмотря на молодость, звали его все, потому что он был смелый и искусный вор и еще что-то, о чем только подозревали, но не решались говорить. Их пробуждения больше всего страшился Хижняков, так как оба они имели на него право, могли войти, сесть на кровать, трогать его руками и вызывать его на мысли и разговоры. С Дуняшей он как-то сошелся, пьяный, и обещал на ней жениться, и хотя она смеялась и хлопала его по плечу, но искренно считала его влюбленным в себя и покровительствовала, а сама была глупая, грязная, дурно пахнущая и часто ночевала в участке. А с Абрамом Петровичем он только третьего дня вместе пьянствовал, целовался и давал клятвы в вечной дружбе.

Когда раздался свежий и громкий голос Абрама Петровича и его быстрые шаги мимо двери, Хижняков застыл от страха и ожидания, простонал, не сдержавшись, вслух и еще более испугался. В одной яр-

кой картине перед ним пронеслось его пьянство, как они сидели в каком-то темном трактире, освещенном одной лампой, среди темных, шепчущихся почему-то людей, и тоже шептались. Абрам Петрович, бледный и возбужденный, жаловался на трудную жизнь вора, зачем-то обнажал руку и давал щупать неправильно сросшиеся кости, а Хижняков целовал его и говорил:

– Я люблю воров. Они смелые, – и предлагал ему выпить на брудершафт, хотя они давно говорили на ты.

– А я люблю тебя, что ты образованный и понимаешь нашего брата, – отвечал Абрам Петрович. – Гляди-ка, рука-то: она вот!

И опять перед его глазами протягивалась белая рука, казавшаяся жалкой от своей белизны, и в внезапном понимании чего-то, чего он теперь не помнил и не понимал, он целовал эту руку, а Абрам Петрович горделиво кричал:

– Верно, брат! Помрем, а не сдадимся!

А потом что-то грязное, кружащееся, вой, свист и прыгающие огни. И тогда это было весело, а теперь, когда в углах пряталась смерть и отовсюду надвигался день с необходимостью жить, и действовать, и за что-то бороться, о чем-то просить, – было мучительно и непередаваемо ужасно.

– Барин, спишь? – насмешливо спросил за дверью

Абрам Петрович и, не получив ответа, добавил: – Ну спи, черт с тобой.

К Абраму Петровичу приходит много знакомых, и в течение целого дня визжит дверь и раздаются ба-систые голоса. И Хижнякову при каждом стуке кажется, что это пришли к нему и за ним, и он прячется все глубже и долго прислушивается, пока поймет, кому принадлежит голос. Он ждет, ждет мучительно, с содроганием всего тела, хотя нет во всем мире никого, кто пришел бы к нему и за ним.

У него была жена когда-то, давно, и умерла. Еще дальше в прошлом у него были братья и сестры, а еще дальше – нечто смутное и красивое, что он называл матерью. И все они умерли, а может быть, кто-нибудь и жив, но так затерян в бесконечном мире, как будто бы умер. И он скоро умрет, – он это знает. Когда он встанет сегодня с своего ложа, у него будут подламываться и трястись ноги, а руки будут делать неверные, странные движения, – и это смерть. Но, пока она придет, нужно жить, и это такая грозная задача для человека, у которого нет денег, здоровья и воли, что Хижнякова охватывает отчаяние. Он сбрасывает с себя одеяло, заламывает руки и бросает в пространство такие долгие стоны, как будто сквозь тысячи страдающих грудей прошли они и оттого стали такими полными, до краев налитыми нестерпимой мукой.

– Отопри, черт! – кричит за дверью Дуняша и колотит в дверь кулаком. – А то ведь дверь сломаю!

Трясаясь и качаясь, Хижняков подошел к двери, открыл ее и быстро, почти падая, снова улегся в постель. Дуняша, уже завитая и напудренная, села рядом с ним, притиснув его к стене, положила ногу на ногу и важно сказала:

– А я тебе новость принесла. Катя вчера Богу душу отдала.

– Какая Катя? – спросил Хижняков. И язык у него ворочался тяжело и неверно, как чужой.

– Ну вот, забыл, – засмеялась Дуняша. – Такая Катя, которая у нас жила. Как же ты забыл, когда она всего неделю ушла.

– Умерла?

– Ну да, умерла, как все помирают.

Дуняша посплюнявила короткий палец и отерла пудру с редких ресниц.

– От чего?

– От того, от чего все помирают. Кто же ее знает, от чего. Мне вчера в кофейной сказали. Умерла, говорят, Катя.

– А ты ее любила?

– Конечно, любила. О чем спрашивает!

Глупые глаза Дуняши смотрели на Хижнякова с тупым равнодушием, и толстая нога покачивалась. Она

не знала, о чем ей больше говорить, и старалась смотреть на лежащего так, чтобы показать ему свою любовь, и для этого слегка прищурила один глаз и опустила углы толстых губ.

День начался.

II

В этот день, в субботу, мороз был такой сильный, что гимназисты не ходили учиться и конские бега были перенесены на другой день, так как представлялась опасность простудить лошадей. Когда Наталья Владимировна вышла из родильного приюта, она в первую минуту была рада, что уже вечер, что на набережной никого нет и никто не встретит ее, девушку, с шестидневным ребенком на руках. Ей казалось, что, как только переступит она порог, ее встретит гамом и свистом целая толпа, в которой будет и отец ее, слюнявый, параличный и как будто совсем безглазый, и знакомые студенты, офицера и барышни. И все они будут показывать на нее пальцами и кричать: вот девушка, которая окончила шесть классов гимназии, имела знакомых студентов, умных и благородных, краснела от неловко сказанного слова и которая шесть дней тому назад родила ребенка в родильном приюте, рядом с другими падшими женщинами.

Но набережная была пустынна. По ней свободно носился ледяной ветер, подымал серую тучу снега, истолченного морозом в едкую пыль, и окутывал ею все живое и мертвое, что встречалось ему на пути. С легким свистом он обвивался вокруг металлических

столбиков решетки, и они блестели, как отполированные, и казались такими холодными и одинокими, что на них больно было смотреть. И такой же холодной, оторванной от людей и жизни почувствовала себя девушка. На ней была коротенькая кофточка, та самая, в которой она обыкновенно каталась на коньках и которую второпях надела, уходя из дома и уже начиная страдать предродовыми болями. И когда ветер охватил ее, обвил вокруг ног тонкое платье и застудил голову, ей стало жутко, что она замерзнет, и страх толпы исчез, и мир развернулся безграничной ледяной пустыней, в которой нет ни людей, ни света, ни тепла. Две горячие слезинки навернулись на глазах и застыли. Наклонив голову, она отерла их бесформенным свертком, которым были заняты ее руки, и пошла быстрее. Теперь она не любила ни себя, ни ребенка, и жизнь обоих казалась ей ненужной, но ее настойчиво толкали вперед слова, которые были как будто не в мозгу у нее, а шли впереди и звали:

«Немчиновская улица, второй дом от угла. Немчиновская улица, второй дом от угла».

Эти слова она твердила шесть дней, лежа в постели и кормя ребенка. Они значили, что нужно идти на Немчиновскую улицу, где живет ее молочная сестра, проститутка, потому что только у нее одной, и больше ни у кого, может найти она приют для себя и ребен-

ка. Год тому назад, когда все еще было хорошо и она постоянно смеялась и пела, она была у захворавшей Кати и помогла ей деньгами, и теперь это оставался единственный человек, которого ей не было стыдно.

«Немчиновская улица, второй дом от угла. Немчиновская улица, второй дом от угла».

Она шла, и ветер злобно вился вокруг нее и, когда она взошла на мост, хищно бросился к ней на грудь и железными когтями впился в холодное лицо. Победенный, он с шумом падал с моста, кружился по снежной глади реки и снова взмывал вверх, закрывая дорогу трепещущими холодными крыльями. Наталья Владимировна остановилась и бессильно облокотилась на перила. Глубоко снизу на нее взглянул черный матовый глаз – клочок незамерзшей воды, – и был его взгляд загадочен и страшен. А впереди звучали и настойчиво звали слова:

«Немчиновская улица, второй дом от угла. Немчиновская улица, второй дом от угла».

Хижняков, уже одетый, снова лежал в постели и до самых глаз кутался теплым пальто, последней оставшейся у него вещью. В комнатке было холодно, и в углах намерз лед, но он дышал в барашковый воротник, и от этого ему было тепло и уютно. Весь день он обманывал себя, что завтра пойдет искать работы и о чем-то просить людей, а пока он счастливо не думал

и только вздрагивал при повышенном звуке голоса за стеной или стуке зябко захлопнутой двери. Так долго и спокойно лежал он, когда во входную дверь послышался неровный стук, робкий, торопливый и острый, как будто стучали задней стороной руки. Комната его была ближайшей к двери, и, повернув голову, насто-рожившись, он ясно различал, что возле нее проис-ходило. Подошла Матрена, дверь открылась и закры-лась за кем-то вошедшим, и наступило выжидатель-ное молчание.

– Вам кого? – хрипло прозвучал недружелюбный вопрос Матрены. И незнакомый голос, тихий и ломающийся, растерянно ответил:

– Мне Катю Нечаеву. Катя Нечаева здесь живет?

– Жила. А вам она на что?

– Мне очень нужно. Ее нет дома? – В голосе про-звучал страх.

– Умерла Катя. Умерла, я говорю. В больнице.

Опять долгое молчание, такое долгое, что Хижняков почувствовал боль в шее, которой он не смел по-вернуть, пока люди молчали. И потом незнакомый го-лос произнес тихо, без выражения:

– Прощайте.

Но, видимо, она не уходила, потому что через ми-нуту Матрена спросила:

– Что это у вас? Кате, что ли, принесли?

Что-то упало на пол, стукнув коленами, и незнакомый голос произнес быстро, надрываясь от сдерживаемых рыданий:

– Возьмите! Возьмите, Бога ради. Возьмите! А я... я уже пойду.

– Да что это?

Потом опять долгое молчание и тихий плач, прерывистый и безнадежный. Была в нем смертельная усталость и черное, беспросветное отчаяние. Словно чья-то утомленная рука бессильно водила по туго натянутой струне, и струна эта была последней на дорогом инструменте, и когда она разорвется – навсегда угаснет нежный и печальный звук.

– Да ведь вы его чуть не задушили! – грубо и сердито вскрикнула Матрена. – Тоже ведь рожать берутся. Разве так можно. Кто же так ребят завертывает! Пойдемте за мной. Ну, ну, хорошо, пойдем, я говорю. Разве так можно.

Около двери наступила тишина. Хижняков послушал еще немного и лег, обрадованный, что пришли не к нему и не за ним, и не стараясь разгадать, что было в случившемся для него непонятного. Он уже начинал чувствовать приближение ночи, и ему хотелось, чтобы кто-нибудь посильнее пустил лампу. Покой проходил, и, стискивая зубы, он старался удержать мысль; в прошлом была грязь, падение и ужас – и тот же ужас

был в будущем. Он уж постепенно начинал сжиматься, подпрятывать ноги и руки, когда вошла Дуняша, уже одетая для выхода в красную блузу и слегка пьяная. Она размашисто села на кровать и всплеснула короткими руками:

– Ах ты, господи! – и она повела головой и засмеялась. – Ребеночка принесли. Такой маленький, а орет, как пристав. Ей-Богу, как пристав!

Она блаженно выругалась и кокетливо щелкнула Хижнякова по носу.

– Пойдем смотреть. Ей-Богу, а то что же? Посмотрим, да все тут. Матрена его купать хочет, самовар поставила. Абрам Петрович сапогом раздувает – потеха! А ребеночек кричит: уау, уау...

Дуняша сделала лицо таким, как, по ее предположению, у ребенка, и еще раз пропищала:

– Уау! Уау! Чисто пристав. Ей-Богу! Пойдем. Не хочешь – ну и черт с тобой! Издыхай тут, яблоко мороженое.

И, приплясывая, она вышла. А через полчаса, качаясь на слабых ногах и придерживаясь пальцами за косяки, Хижняков нерешительно приоткрыл дверь в кухню.

– Затворяй, настудишь! – крикнул Абрам Петрович. Хижняков быстро захлопнул за собой дверь и виновато оглянулся, но никто не обращал на него внима-

ния, и он успокоился. В кухне было жарко от печи, самовара и людей, и пар густыми клубами подымался и ползал по холодным стенам. Матрена, сердитая и строгая, купала в корыте ребенка и корявой рукой плескала на него воду, приговаривая:

– Агунюшки! Агунюшки! Чистенькие будем, беленькие будем.

Оттого ли, что в кухне было светло и весело, или вода была теплая и ласкала, но ребенок молчал и морщил красное личико, точно собираясь чихнуть. Дуняша через плечо Матрены заглядывала в корыто и, улучив минуту, быстро, тремя пальцами плеснула на ребенка.

– Уйди! – грозно крикнула старуха. – Куда лезешь? Без тебя знают, что делать, свои дети были.

– Не мешай. Это точно, – подтвердил Абрам Петрович. – Ребенок дело тонкое, это кто как умеет обращаться.

Он сидел на столе и с снисхождительным удовольствием смотрел на маленькое розовое тельце. Ребенок пошевелил пальчиками, и Дуняша в диком восторге замотала головой и захохотала.

– Чисто пристав, ей-Богу!

– А ты пристава в корыте видела? – спросил Абрам Петрович.

Все засмеялись, и Хижняков улыбнулся, но тотчас

испуганно сорвал с лица улыбку и оглянулся на мать. Она устало сидела на лавке, откинув голову назад, и черные глаза ее, сделавшиеся огромными от болезни и страданий, светились спокойным блеском, а на бледных губах блуждала горделивая улыбка матери. И, увидев это, Хижняков засмеялся одиноким, запоздалым смехом:

– Хи-хи-хи!

И так же гордо оглянулся по сторонам. Матрена вынула ребенка из корыта и обернула простыней. Он залился звонким плачем, но скоро смолк, и Матрена, отворачивая простыню, конфузливо улыбнулась и сказала:

– Тельце-то какое, чисто бархат.

– Дай попробовать, – попросила Дуняша.

– Еще что?

Дуняша внезапно затряслась всем телом и, топая ногами, задыхаясь от жадности, безумная от охватившего ее желания, закричала высоким голосом, которого у нее не слышал никто:

– Дай!.. Дай!.. Дай!..

– Дайте же ей! – испуганно попросила Наталья Владимировна. Так же внезапно успокоившись и перейдя на улыбку, Дуняша осторожно двумя пальцами прикоснулась к плечу ребенка, а за ней, снисходительно щурясь, потянулся к этому алевшему плечу и Аб-

рам Петрович.

– Это точно. Ребенок дело тонкое, – сказал он, оправдываясь.

После всех попробовал Хижняков. Пальцы его на миг ощутили прикосновение чего-то живого, пушистого, как бархат, и такого нежного и слабого, что пальцы сделались как будто чужими и тоже нежными. И так, вытянув шею, бессознательно озаряясь улыбкой странного счастья, стояли они, вор, проститутка и одинокий, погибший человек, и эта маленькая жизнь, слабая, как огонек в степи, смутно звала их куда-то и что-то обещала, красивое, светлое и бессмертное. И гордо глядела на них счастливая мать, а вверху, от низкого потолка, тяжелой каменной громадой подымался дом, и в высоких комнатах его бродили богатые, скучающие люди.

Пришла ночь. Пришла она черная, злая, как все ночи, и тьмой раскинулась по далеким снежным полям, и в страхе застыли одинокие ветви деревьев, те, что первые приветствуют восходящее солнце. Слабым огнем светильников боролись с ней люди, но, сильная и злая, она опоясывала одинокие огни безысходным кругом и мраком наполняла человеческие сердца. И во многих сердцах потушила она слабые тлеющие искры.

Хижняков не спал. Сложившись в крохотный комок,

он прятался от холода и ночи под мягкой грудой тряпья и плакал – без усилия, без боли и содроганий, как плачут те, у кого сердце чисто и безгрешно, как у детей. Он жалел себя, сжавшегося в комок, и ему чудилось, что он жалеет всех людей и всю человеческую жизнь, и в этом чувстве была таинственная и глубокая радость. Он видел ребенка, который родился, и ему казалось, что это родился он сам для новой жизни, и жить будет долго, и жизнь его будет прекрасна. Он любил и жалел эту новую жизнь, и это было так радостно, что он засмеялся, встряхнул грудку тряпья и спросил:

– О чем я плачу?

И не нашел, и ответил:

– Так.

И такой глубокий смысл был в этом коротком слове, что новой волной горячих слез всколыхнулась разбитая грудь человека, жизнь которого была так печальна и одинока.

А у изголовья уже усаживалась бесшумно хищная смерть и ждала – спокойно, терпеливо, настойчиво.

Декабрь 1901 г.